

1.Трактат «Пир» и провозглашение самоценности родного языка

Антитезу латыни и народного языка, являющуюся кардинальной проблемой истории формирования романских литературных языков, Данте рассматривает в «Пире» (*Convivio*) на примере употребления

7 В частности, книга Брунетто, наряду с многочисленными историческими и теологическими компиляциями, включала бестиарий и первый перевод на новый язык «Никомаховой этики» Аристотеля. При переводе этой книги на итальянский в нее был включен уже готовый перевод «Этики», сделанный Таддео д'Аль-деротто, о котором нам еще придется упоминать.

8 Название это, вероятно, отражает античную традицию философских «пиров», восходящую к Платону (хотя упоминания его «Пира» у Данте нет, впрочем, название этого диалога и зависимых от него текстов Ксенофонта, Плутарха, Лукиана, Афиней могли быть известны и из вторых рук). Однако в трактате Данте не соблюдается важнейший критерий этого жанра — его диалогичность (о жанровых характеристиках симпозиума см. [Рабинович 1972]).

/14/

языка в самом «Пире»⁹. Он считает себя новатором в этом отношении не потому, что пользуется народным языком в ученой прозе, а потому, что впервые применяет его в жанре комментария. Хотя в качестве прецедента можно указать на итальянский комментарий Брунетто к Цицерону в «Риторике» [Brunetto Latini 1968], тем не менее значение жанровой инновации Данте трудно переоценить, ибо для средневековой латинской традиции как таковой комментарий был одним из самых распространенных жанров и едва ли не основной формой интеграции античного наследия, особенно философского (см. [Mac-Lennan 1960]). Второй языковой особенностью «Пира» является то, что предметом комментария здесь выступает не сакральный, не философский, не античный текст, и вообще не латинское и не переведенное с латыни произведение, а новые стихи на живом языке, занимающие то место, которое в традиции отведено Писанию, античной философии и поэзии (как заметил М. Фуко, «чтобы комментировать необходима предварительная безусловность текста» [Фуко 1977, с. 133]). В нашей науке, даже в новейших работах (см., например: [Елина 1988, с. 135]), Данте считается пионером и в этом отношении. На самом деле первым произведением итальянской поэзии, удостоившимся ученого комментария¹⁰, была канцона «первого друга» Данте — Гвидо Кавальканти—*Donna te prega*. Автором этого — латинского — комментария был флорентийский медик Дино дель Гарбо¹¹, учившийся в Болонском университете как раз в то время, когда там преподавал его соотечественник Таддео д'Альдеротто — автор уже упоминавшегося перевода «Никомаховой этики»

Аристотеля (см. прим. 7). Любопытно, что этот перевод Данте упоминает в той же вводной главе «Пира», объясняя свой выбор народного языка: «Предполагая, что желание понять

9 Трактат «Пир» никогда не был предметом отдельного рассмотрения в связи с лингвистическими воззрениями Данте. Эти вопросы обычно рассматриваются либо в общих работах, посвященных трактату в целом, см., например, предисловие М. Барби к изд. [Busnelli 1934-1937] и предисловие Ч. Вазоли к новому критическому изд. [Vasoli 1988], либо в связи с анализом главного лингвистического трактата Данте «О народном красноречии». О философии «Пира» см. классический труд Э. Жильсона [Gilson 1939]; большинство итальянских работ посвящено анализу этого сочинения как памятника ранней итальянской прозы: [Lisio 1902], [Schiaffini 1934], [Terracini 1957, p. 273-278; p. 279-293], [Vallone 1967], [Segre 1976, p. 227-270], [Nardi 1992], осн. библиографию см. [Vasoli 1988, p. XCIV-XCVI]; о рукописной традиции — наше Приложение I. 2.

10 Здесь следует оговорить, что прозаические пояснения к светским стихам, которые часто включались в сборники провансальских трубадуров, не относились к жанру комментария. Так, в «Новой жизни», структуру которой повторяет «Пир», Данте нигде не пользуется термином *commento*, называя свои комментарии, на провансальский манер, *ragione*. См. [Crescini 1898, p. 463-464].

11 См. [Corti 1982, p. 24], [Kristeller 1985, p. 108]. Подробнее о канцоне Кавальканти и ее многовековой комментаторской традиции см. [Corti 1983, p. 3-38].

/15/

эти канцоны заставило бы какого-нибудь некнижного человека (*illiterato*) перевести латинский комментарий на язык народный, и опасаясь, что народный язык будет кем-нибудь изуродован, как это сделал Таддео Гиппократист, который перевел с латинского «Этику», я предусмотрительно применил народный» (Пир. I.X.10.). Не исключено, что пример Дино дель Гарбо — латинский комментарий к итальянской канцоне — полемически учитывался Данте, когда он избрал для такого же комментария народный язык.

Выбор народного языка подробно мотивируется Данте в V-XIII главах Первой книги трактата (т. е., изложив цели своего сочинения, всю остальную часть вводного раздела он посвящает вопросу о языке). Он приводит «в оправдание этого ... три довода, которые и заставили» его избрать народный язык. «Один из них вызван опасением неподходящего выбора; второй — желанием быть щедрым; третий — любовью к родному наречию» (Пир. I.V.2). Нетрудно заметить, что два из них четко соотносятся с «участниками коммуникации»: адресатом (второй «довод») и адресантом (третий «довод»).

Тема «щедрости» относится к аудитории, которой адресован «Пир», и непосредственно связана с просветительской, учительской функцией трактата. «Латинский комментарий был бы благодеянием лишь для немногих, народный же окажет услугу поистине многим» (Пир. I.X.4). При этом Данте делает немаловажное с «социолингвистической» точки зрения уточнение: «...здесь говорится о многочисленных князьях, баронах, рыцарях и многих других знатных особах, не только о мужчинах, но и о женщинах, говорящих на языке народном и не знающих латыни» (Пир. I.IX.5)¹², и далее: «дар этого комментария ... не может не принести пользу тем, кому свойственно истинное благородство ... а люди эти почти все выражаются на языке народном, подобно тем знатым особам, которые перечислены выше в настоящей главе» (Пир. I.IX.8). Важно отметить, однако, что «прагматические» заботы Данте не сводятся к одному лишь количественному охвату: его цель — охватить всю итальянскую аудиторию и только ее. В другой главе он приводит как недостаток латинского комментария то, что он «толковал бы канцоны для людей чужого языка ... содержание их толковалось бы там, куда они не смогли бы проникнуть» (Пир. VII.13)¹³. Это ограничение связано именно с тем самосознанием итальянского

12 Учитывая роль Данте как первого в европейской истории «основателя» нового языка, стоит упомянуть о том, что последний из приведенных аргументов — ссылка на женщин аристократического круга — не раз повторялся в аналогичных ситуациях. Наиболее очевидный пример в русской традиции — Н. М. Карамзин. См. об этом [Успенский 1985, с. 57-60].

13 Далее следует замечание о принципиальной непереводаемости поэзии, иллюстрируемое весьма любопытными примерами: во-первых, тем, что Гомер из-за этого не был переведен на латинский язык, и, во-вторых, тем, что псалмы в двойном переводе «лишены сладости музыки» (Пир. I.VII.14-16).

/16/

языка в творчестве Данте, о котором шла речь выше, идея же всеобщности (в этих рамках) народного языка становится отправной точкой рассуждения в VE.

Аргумент, связанный с «говорящим», — это «любовь к родному наречию», не случайно Данте разбирает этот «довод» последним, поскольку здесь он отходит от конкретных потребностей комментария и говорит о народном языке в целом. С тем же педантизмом Данте анализирует проявления любви: «природная любовь побуждает любящего: во-первых, возвеличивать любимое, во-вторых, ревновать и, в-третьих, защищать его» (Пир. I.X.6). Если «возвеличиванию» и «ревности» Данте уделяет лишь по несколько фраз (ревность иллюстрируется одним примером — уже цитировавшимся выпадом против Таддео д'Альдеротто), то защите народной речи от ее хулителей он посвящает полторы главы (Пир. I.X.11-XI). Речь идет о тех, кто предпочитает родному языку не латынь, а иные новые языки (*volgare altrui*), в особенности язык «ос». Аргументы в защиту языка «*si*»

сводятся в основном к разоблачению пороков его хулителей (например, тщеславия — желания похвалиться знанием чужого языка, малодушия, связанного с принижением своих достоинств, и т. п.), но один из аргументов вскрывает важную особенность отношения Данте к языку: тех, кто не умеет «владеть словом», но хочет казаться искусным в этом и потому, «чтобы оправдать себя в том, что словом не владеют или владеют плохо, обвиняют и уличают материал, то есть собственный народный язык, и восхваляют чужой», Данте сравнивает с кузнецом, который «хулит предложенное ему железо ... думая переложить вину за дурно выкованный нож ... на железо и этим снять вину с себя» (Пир. I.XI.11-12). Это сравнение весьма значимо для Данте (ср. его знаменитое определение Арнаута Даниэля в «Комедии»: *miglior fabbro del parlar materno* — кузнец родной речи или «ковач родного слова» в переводе М. Л. Лозинского — Чист. XXVI.117), и нам еще придется к нему возвращаться.

Данте открывает таким образом ряд тех европейских мыслителей, которые сделали своей задачей прославление и защиту родного языка, хотя сам он ссылается на прецедент Цицерона: «Против таких-то и витийствовал Туллий ... ибо в его время хулили римскую латынь и превозносили греческую грамматику по причинам, сходным с теми, по которым ныне объявляют итальянское наречие пошлым, а провансальское — изысканным» (Пир. I.XI.14). Однако важно, что для Данте в системе его подхода к языку задачи возвеличивания и защиты представляют собой лишь частные проявления более общего понятия — природной любви к языку. При этом «любовь» — одна из центральных категорий мышления Данте, она относится не только к сфере эмоций, к сфере этики и религии, но и к области философии (см. [Nardi 1949] и даже космогонии: «Любовь, что движет солнце и светила» (*l'amor che move il sole e l'altre stelle* — Рай. XXXIII, 145).

/17/

Концепция философии и любви и их взаимопересечений подробно разбирается в третьем трактате «Пира», представляющем собой комментарий к канцоне *Amor che ne la mente mi ragiona*. Не имея возможности останавливаться на анализе этого сюжета, отметим одну из наиболее характерных формулировок, согласно которой философия предполагает отношение взаимности между душой (*anima*) и премудростью (*sapienza*), которые становятся друзьями и всецело любят друг друга. При этом *sapienza* определяется как предмет философии (*subietto materiale*), а любовь — как ее форма, и Данте заявляет о своем намерении прославить любовь как часть философии (Пир. III.XIV.2). «Это он (*Amor*) вызывал в уме моем (*ne la mia mente informava*) постоянные, необычные (*nuove*) и возвышеннейшие (*altissime*) размышления (*considerazioni*) о даме [т. е. философии]» (Пир. III.XII.3). В тех же терминах Данте прославляет и народный язык, демонстрируя его способность (*vertù* букв. «добродетель») обнаруживать самые высокие и необычные понятия (*altissimi e novissimi concetti* (Пир. I.X.12; здесь и далее в цитатах из Данте везде курсив мой. — Л. С.).

Таким образом, дантовская любовь к языку (и связанная с ней тема друзей народного языка) предполагает не только обращение к нему (как к материалу), но — и в этом главная задача

поэта — требует «оформления» этого материала¹⁴, нахождения адекватной языковой формы для воплощения концептуальной. В трактате эта идея выражена на языке философских категорий и противопоставлений (*forma — materia, in atto — in potere*¹⁵, *(in)formare — fabbricare*), в «Комедии» — в образе диктующей любви: *I' mi son un, che quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch' e' ditta dentro vo significando.* — Когда любовью я дышу, / То я внимателен; ей только надо / Мне подсказать слова, и я пишу. — Чист. XXIV. 52-5416.

14 На это значение любви, определяемой как «действенная» причина (*causa efficiens*), которая соединяет субъект (духовное начало — *anima*) с предметом любви (объект внешнего мира) и преобразует одно в другое (*fa che l'uno si trasforma ne l'altro*), обращали внимание ранние дантоведы XVI в. См. например, [Simon de la Barba 1556, p. 60].

15 Термины *atto* и *podere* являются итальянским переводом главных терминов схоластической философии — *actus et potentia*, которые соответствуют двум важнейшим понятиям в философии Аристотеля, разработанным для обозначения актуальной действительности предмета (*èvéryeta*) в отличие от потенциальной возможности (*биуац*).

16 Перевод М. Л. Лозинского не передает слов *ditta dentro* «диктует внутри» (*Амор*), ср. в цитате-пересказе Ахматовой: «Ты ль Данту диктовала страницы «Ада»?». «Ученический» аспект темы диктовки уловлен и подчеркнут в интерпретации Мандельштама: «Он пишет под диктовку, он переписчик, он переводчик... Он весь изогнулся в позе писца... Тут мало сказать списыванье — тут чистописанье под диктовку самых грозных и нетерпеливых дикторов. Диктор-указчик гораздо важнее так называемого поэта... Вот еще немного потружусь, а потом надо показать тетрадь, облитую слезами бородатого школьника, строжайшей Беатриче, которая сияет не только славой, но и грамотностью» [Мандельштам, 1967, с. 50-51].

/18/

Таковы аргументы Данте, относящиеся к адресату речи (прагматический «апеллятивный» аспект) и к субъекту речи («эмотивный» аспект), — то есть второй и третий «доводы» в пользу комментария на народном языке. Первый довод — это, как уже говорилось, «опасение неподходящего выбора». В отличие от двух других он может относиться и к «объекту речи», и к контексту (в разных смыслах этого термина), и к собственно стилистической сфере. Однако жанровые особенности «Пира», по существу, снимают эти различия, поскольку для комментария «объектом» речи, описываемой действительностью является комментируемое произведение — т. е. факт в такой же степени лингвистический, как и сам комментарий. «Неподходящий выбор» (*disconvenevole ordinazione*) нарушил бы прежде всего языковую гармонию в тексте трактата (т. е. соответствие между языком канцон и языком комментария). Вопрос о языке комментария — именно в аспекте уместности его в данном трактате — решается подчеркнуто *ad hoc*. Латинский язык

отвергается не из-за его недостатков, а как раз в силу его превосходства над народным. Само это превосходство носит объективный и общий характер, оно относится не к частному случаю, каким является выбор языка, а к природе сравниваемых языков, и проявляется это превосходство в трех параметрах: латинский язык отличается, во-первых, бóльшим благородством (*nobilita*), нежели народный, ибо он устойчив и не подвержен порче, тогда как народный язык *è non stabile e corruttibile* («неустойчив и подвержен порче» — Пир. I.V.7); во-вторых — достоинством (или даже, точнее, «добродетелью» — *vertù*), так как лучше выполняет свое предназначение: «латинский язык открывает многие мысли, которые народный выразить неспособен» (Пир. I.V.12); в-третьих — красотой (*bellezza*), ибо в нем «слова обладают должным соответствием друг другу ... в большей степени, чем в народном, ибо народный следует обычаю (*uso*), а латинский — искусству (*arte*), почему он и считается более красивым, более достойным и более благородным» (Пир. I.V.13). Таким образом, Данте завершает рассуждение изящным, обратным по порядку перечнем тех преимуществ латыни, с которых начинал свою аргументацию. Важно подчеркнуть, что, с одной стороны, язык оценивается в категориях общефилософских, прежде всего этических¹⁷, а с другой

17 В частности, категории благородства посвящен IV трактат «Пира». «Под словом «благородство» разумеется совершенство собственной природы каждой вещи. Поэтому слово это прилагается (*è predicata*) не только к человеку, но ко всему без исключения» (*de tutte cose* — Пир. IV.XVI.4-5). На универсальный характер этого критерия в средневековой культуре обратил внимание П. М. Бицилли [Бицилли 1919, с. 35-36]. Он приводит примеры иерархии стихий (вода благороднее земли и т. д.), тел (человеческое тело знатнее прочих тел на свете), имущества (недвижимость почтеннее (*dignior*) движимости), частей тела; даже собаки «делятся на сословия так же, как люди: есть знатные и незнатные», даже чудеса и видения различаются «иерархически», по «достоинству». В этот ряд Бицилли включает и Дантово сопоставление латыни с народным языком, а также иерархию семи свободных искусств в соответствии с семью небесами (Пир. II.XIV). О концепции «благородства» в XIII в. см. специально: [Corti 1959], о философии любви и благородства в «Пире»: [Battaglia 1971].

/19/

стороны, эти чисто оценочные и, на первый взгляд, метафорические характеристики наполнены достаточно реальным и конкретным лингвистическим содержанием: устойчивость и неизменность языка, богатство его лексического (понятийного) состава и грамматический тип (признак красоты, скорее всего, следует понимать как противопоставление флективного строя латыни, при котором слова «соответствуют друг другу», аналитизму итальянского)¹⁸.

Однако все эти преимущества, объективно присущие латыни, с точки зрения трактата, для которого избирается подходящий язык, оказываются недостатками. Сразу же за цитированным выводом Данте следуют слова: «Из этого и вытекает основное положение, а

именно, что латинский язык оказался бы не подчиненным канцонам, но над ними главенствующим» (Пир. I.VI.13). Именно превосходство латыни делает ее непригодной для комментирования итальянского текста. Развернутое сравнение отношений текста и комментария с отношениями господина и слуги, равно как и сам вывод о непригодности латыни для комментария именно в силу ее превосходства, показывают, что для Данте проблема оценки явления (в данном случае языка) не решалась вне вопроса о его конкретной функции¹⁹.

В развернутой метафоре господина и слуги (Пир. I.VI-VII) так же, как в метафоре «дружбы с языком», Данте перечисляет необходимые свойства слуги, а затем «проверяет» их применительно к языку. Достоинства слуги — это понимание и послушание, которые в свою очередь имеют ряд свойств. Если тема «послушания» в общем только развивает мотив «подчинения» комментария тексту канцон, вопрос о понимании хозяина слугой имеет собственно лингвистический смысл. Понятливый слуга должен понимать характер

18 На такую интерпретацию «соответствия» слов, по всей видимости, указывает рассуждение о «сообразности» в VE II.VI.2-3. Дантовская концепция «строения» (*constructio*) латинской фразы и ее проекция на «сплетенность» (*contexite*) слов в итальянской канцоне рассматриваются в [Mengaldo 1978, p. 281-288], [Scaglione 1978; 1990, p. 307-309).

19 Ср. позднейшую формулировку такого подхода: «Оценивать динамический факт с точки зрения статической — то же, что оценивать качества ядра вне вопроса о полете. «Ядро» может быть очень хорошим на вид и не лететь, т. е. не быть ядром, и может быть «неуклюжим» и «безобразным», но лететь хорошо, т.е. быть ядром [Тынянов 1977, с. 260].

/20/

своего господина, т. е. *la natura del volgare*, и должен понимать его друзей. Несмотря на строгое разграничение аргументации по этим двум пунктам, оказывается, что на самом деле они переплетаются. Аргументация Данте здесь совмещает философские абстракции (восходящие, в частности, к Фоме Аквинскому) и вполне конкретные соображения из области прагматики языка: «Тот, кто знает лишь род какой-нибудь вещи, в совершенстве ее не знает... Латинский знает (*conosce*) народный язык вообще, но не в отдельных проявлениях (*in genere ma non distinto*), ибо если бы он различал его надлежащим образом, то познал бы (*conoscerebbe*) все народные языки — ведь нет оснований, чтобы он один понимал (*conoscesse*) лучше другого» (Пир. I.VI.6-7). Здесь речь идет о чисто философских категориях знания, о соотношении рода и индивидуального явления, и весьма затруднительно выяснить из этого контекста, что собственно Данте имел в виду, говоря о «знании», «понимании» одного языка другим. По всей видимости, эта трудность проистекает из того обстоятельства, что Данте действительно имел в виду сразу несколько различных смыслов и уровней: от проблемы взаимопонятности языков (для их носителей

— т. е. прагматический аспект) до общепринятой схоластической теории универсальной грамматики, согласно которой все языки имеют общую «субстанцию», а различаются только «акциденциями». Как утверждал один из главных авторитетов грамматической науки того времени Боэций Дакийский (Датский), «кто знает ее [грамматику] в одном языке, знает ее и в другом (*qui scit eam in uno idiomate scit eam in alio* — *Modi sign.* 14.61-62)²⁰. Поскольку теория модистов разрабатывалась на основе латинского языка, концепция универсальной грамматики за пределами школы естественным образом отождествлялась с реальной грамматикой латинского языка, или попросту с латынью. Учитывая это отождествление, слова Данте можно рассматривать как прямую полемику с тезисом Боэция.

Однако в «Пире» интерес Данте направлен в большей мере не на абстрактные вопросы схоластической науки, а на язык в его

20 «Данте и модисты» — тема сравнительно новая и в отечественном дантоведении еще не появившаяся ввиду того, что до сравнительно недавнего времени основным источником сведений о модистах служила антология Ш. Тюрю 1868г. [Thurot 1869], во многих отношениях несовершенная. Критические издания сочинений представителей этой школы — Иоганна, Мартина, Симона и Боэция Датских начали выходить с середины 50-х гг. нашего века в *Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi* и существенно изменили само представление о научном контексте сочинений Данте. В Италии к этой теме впервые обратилась (если не считать эпизодических замечаний комментаторов трактатов Данте) Мария Корти в монографии 1981г. «Данте на новом перепутье» [Corti 1982], без которой многие вопросы (в том числе и затронутые в настоящей работе) могли бы остаться вне нашего поля зрения.

/21/

непосредственном бытовании, поэтому общий тезис он доказывает и проясняет уже на прагматическом уровне, обратившись к языковой компетенции носителя. Он продолжает: «таким образом, если бы какой-нибудь человек полностью и в совершенстве овладел латынью, то он, как может показаться, приобрел бы способность охватить и познать все народные языки» (Пир. I.VI.7). У Данте здесь стоит единственное число: «народный язык» (*l'abito di conoscenza distinto de lo volgare*). Не исключено, что он имеет в виду некий «тип» народного языка, конкретизирующийся в отдельных языках подобно универсальной грамматике, во всяком случае, далее он поясняет эту мысль не только с помощью «понимания», но и умения опознавать, различать (*distinguere*) разные «новые» языки: «Но этого не бывает; человек, владеющий латынью, если он из Италии, не отличает [английского]²¹ народного языка от немецкого, ни немец, знающий латынь, не различает итальянский народный язык от провансальского» (Пир. I.VI.8). Здесь, как мы видим, речь уже идет о конкретных народных языках и о способности носителей одних языков понимать другие. При этом Данте ставит в вину латыни даже то, что она не помогает понять (или отличить) германские языки, и дело здесь вовсе не в том, что он не знаком с понятием

родства языков²². На уровне примеров он отчетливо различает (*distingue*) родственные языки и заставляет немца опознавать романские, а итальянца — германские, но на уровне общего утверждения он пренебрегает этим различием, сопоставляя латынь с «народным языком вообще» (частным проявлением этой категории служат отдельные или «все» народные языки), и соответственно делает общий вывод: «Отсюда явствует, что латынь не понимает народного языка» (снова в ед. числе — Пир. I.VI.8). Затем он снова меняет уровень аргументации, показывая, что прагматический уровень был нужен только для иллюстрации, а к прагматике как самостоятельной проблеме он переходит только сейчас: «К тому же она (латынь) не понимает и его друзей» — т. е. носителей языка. Здесь уже подготавливается переход к последующим доводам, к доступности языка (вопрос о носителях) и любви к языку (дружбе с ним), однако нисхождение к конкретным уровням происходит постепенно. Поначалу Данте, не оставляя своей метафоры «понимания» (смысл которой в предлагаемой интерпретации несомненно далеко не исчерпан), говорит, что латынь «не понимает» друзей, т. е. носителей народного языка,

21 «Английского» — представляет собой традиционную конъектуру (см., например, комментарий в: [Голенищев-Кутузов 1968, с. 524]).

22 Этой проблеме (со ссылками на дантовский трактат VE) посвящена статья Дж. Бонфанте «Заметки о родстве европейских языков (К истории постановки вопроса в период с 1200 по 1800 г.)» [Бонфанте 1957].

/22/

«переворачивая» последующее и для нас более естественное утверждение, что носители народного языка не понимают латыни. Лишь после этого, в качестве доказательства, он упоминает факт собственно прагматический: «без общения и близости невозможно понимать людей, латинский же ни в одном народе не имеет общения со столькими людьми, со сколькими общается язык народный; а следовательно, латинский и не может понимать языка народного» (Пир. I.VI.10). Здесь полностью повторена та же структура: вначале, на более абстрактном уровне, речь идет о народном языке вообще, затем в качестве аргументации и примера вводится множественность отдельных языков («ни у одного народа») и затем вывод снова делается на абстрактном уровне, в единственном числе.

Такова, в основном, аргументация Данте в «Пире», оформленная с педантизмом схоласта, разбитая на отдельные доводы, аргументы и выводы. Правда, уже в ходе предыдущего изложения нетрудно было заметить, что собственно лингвистические темы трактата отнюдь не совпадают с этой рубрикацией «доводов». Внешняя логика, эксплицитная аргументация, составляет лишь первый уровень мысли Данте. На этом уровне тезис, доказываемый в первом трактате, сводится к тому, что латинский язык объективно «лучше» народного, но для целей «Пира» народный язык уместнее. Однако на более глубоком уровне этот тезис, в сущности, опровергается и утверждаются достоинства *volgare*, не уступающие латыни. Эти

положения не выстроены в такую же строгую цепь доказательств, они формулируются «исподволь», в ходе аргументации первого тезиса, тем не менее они несомненно и убедительно доказываются в трактате. Каждый пункт первого тезиса, т. е. каждый (или почти каждый) признак, по которому латынь превосходит народный язык, к концу первого трактата находит свое опровержение. Этот второй уровень ни в коей мере нельзя назвать «скрытым» или «тайным», все положения сформулированы недвусмысленно и четко, они лишь не выдвинуты в качестве тезисов, доказываемых по всем правилам аргументации, как доказывается частное утверждение о необходимости избрать народный язык для комментария в данном сочинении. Второй уровень аргументации противоречит первому лишь в своей «модальности»; если логически стройная система доказательств первого уровня начинается с извинения за использование народного языка и представляет собой «оправдание» этого выбора, то на втором уровне отрицается как раз необходимость такого извинения. В этом смысле полную параллель двум этим уровням мы находим в той сквозной метафоре трактата, от которой и происходит его название, метафоре

/23/

хлеба, очищаемого от пятен²³, именно в той ее части, которая совпадает с началом обсуждения вопроса о языке.

Свое «извинение» за выбор народного языка, которым и открывается вся лингвистическая часть трактата, т. е. описанная выше аргументация, Данте начинает с нового поворота «хлебной метафоры»: «После того как хлеб этот был очищен от случайных пятен, остается просить извинения за одно существенное пятно, а именно за то, что он написан на языке народном, а не на латинском; пользуясь же сравнением можно сказать, что это хлеб простой, а не пшеничный» (Пир. I.V.I). Эти слова не только подчеркивают факт «извинения» за выбор народного языка, но и вводят его в тот контекст, на который ориентирована вся формальная аргументация «Пира», поскольку сама метафора хлеба основана на подчиненном положении комментария — «угощением» на пиру являются канцоны, а комментарий служит хлебом, необходимым для их усвоения (Пир. 1.1.13-14). Однако уже в первой главе появляются формулировки, свидетельствующие о самоценности хлеба. Сначала Данте говорит: «Я намереваюсь задать всеобщее²⁴ пиршество из того хлеба, который необходим для такой снеди» (Пир.1.1.11), но в следующем предложении переворачивает эти взаимоотношения: «А это и есть пир, достойный этого хлеба» (Пир. I.I.12), причем без этого хлеба «бедняки», т. е. те, кто не может присутствовать за «трапезой», где вкушают ангельский хлеб, вообще не «смогли бы отведать» эту снесь, — что, как уже отмечалось, указывает на необходимость писать на народном языке.

Извинение за простой хлеб открывает пятую главу, в которой излагаются основные «доводы» в пользу *volgare* и рассматриваются преимущества латинского языка перед ним. Аргументация начинается с VI главы, и в ней, в контексте, где наиболее наглядно подчеркивается подчиненная роль комментария (метафора господина и слуги) и функциональность выбора языка для него, мы тем не менее встречаем утверждение о языке, относящееся, по-видимому, к самому высокому уровню абстракции для этого трактата.

23 Речь идет о хлебе — комментарии к яствам — канционам. «В начале каждого хорошо устроенного пира слуги берут поданный на стол хлеб и очищают его от всякого пятнышка» (Пир. I.II.I). Данте сам очищает свой хлеб, то есть отводит возможные обвинения (формально это представлено как извинения за его недостатки — «пятна»). Сначала он отводит обвинения, внешние по отношению к комментарию (необходимость говорить о самом себе и т. п.), а затем переходит к языку комментария.

24 Уже здесь, в первой главе, вводится и «прагматический аспект» языковой проблемы — «всеобщее пиршество» (*generale convivio*): «Но пусть придет сюда всякий ... и сядет за одну трапезу вместе с другими» (Пир. I.I.13).

/24/

Мы имеем в виду высказанное выше предположение о скрытой полемике с универсальной грамматикой модистов. Если рассуждение Данте о непонимании латынью народных языков (или народного языка как более общей категории)²⁵ направлено против цитированных слов Боэция, то оно тем самым должно опровергать и более общий тезис модистов, согласно которому, повторяем, языки различаются лишь «акциденциями» — случайными, внешними проявлениями — но едины по своей «субстанции». Едва ли случайно именно с этих слов (которые у модистов были основными терминами) начинается «извинение» за простой хлеб в I.V.I, в более буквальном переводе: — «После того как этот хлеб очищен от недостатков (пятен) акцидентального характера, остается освободить его от обвинения в одном субстанциональном изъяне, то есть в том, что он вульгарный, а не латинский и, можно сказать, подобен простому хлебу, а не пшеничному» (*Convivio. I.V.I*)²⁶. Введение модистских терминов в эту метафору свидетельствует о том, что как разница между хлебом из пшеничной и простой муки — это разница субстанций, так и языки различаются субстанцией, а не акциденциями, в противоположность единодушному мнению модистов, что в языках: «*Est diversitas solum in accidentibus*» («Есть различие только в акциденциях»).

На наличие второго смысла в этой метафоре указывает, по-видимому, еще один термин: *similitudine*. Латинские богословские тексты подчеркивают различие между сравнением (*comparatio*) и

25 Нужно специально оговорить, что в ряде случаев трудно решить, понимает ли Данте под *volgare* тот или иной конкретный язык (прежде всего итальянский, как в главах о «природной любви» к своему языку) или же «народный язык» вообще, как некий инвариант (как это, вероятно, имеет место в разбиравшихся выше формулировках главы VI).

26 Здесь следует различать два значения термина «акциденция»: в традиционной латинской грамматике *accidentia* означает категории, присущие имени, глаголу и т. д. (напр., акциденции имени — это род, число, падеж и т. д.) и только; в философии термин «акциденция» (*accidens*) означает случайное, несущественное в противоположность существенному, субстанциональному, т. е. является коррелятом термина «субстанция»; в связи с этим в философских грамматиках позднего средневековья (модисты составляют лишь одно из направлений схоластической науки о языке) переосмыслиется и традиционный термин грамматического описания «акциденция». Как отмечают историки науки, деление свойств вещи на субстанциональные качества (сущностные и постоянные) и акцидентальные признаки (случайные и преходящие) постоянно сталкивалось с неразрешимыми (в рамках этой системы) противоречиями при интерпретации определенных процессов и явлений в самых разных областях знания. В связи с дантовской метафорой хлеба важно отметить, что в этих же терминах — субстанции и акциденции — интерпретировали богословы таинство евхаристии. Интересным для нас представляется решение этой проблемы у Фомы Аквинского, который полагал, что функцию субстанции хлеба и вина после их пресуществления выполняет их количество [Гайденко, Смирнов 1989, с. 244].

/25/

подобием (*similitudo*).²⁷ Действительно, традиционное еще для античности сравнение литературного или духовного сочинения с пищей (вплоть до языковой метафоры «духовная пища») в трактате развито с такой детальностью (характерной, впрочем, для Данте)²⁸, что начинает превращаться из риторической аллегории в теологическую. Это происходит не только за счет подробного развития или терминологического характера слова *similitudine*. Сама метафора еще раз кратко упоминается в начале десятой главы I.X (в тех же словах: *pane di biado e non di frumento* — Пир. I.X.I) и возникает снова в самом конце первого трактата, по завершении всей аргументации: «Итак, обратив взоры вспять и собрав воедино все приведенные выше доводы, можно увидеть, что хлеб, с которым надлежит вкушать приведенные ниже канцоны, достаточно очищен от пятен и от того, что он из простой муки (*e da Tessere di biado*). Настало время подавать само кушанье» (Пир. I.XII. 11-12). Однако, когда метафора и все построение трактата, казалось бы, завершены, Данте повторяет: «Итак, это будет тот ячменный хлеб (*pane orzato*), которым насыщаются тысячи, для меня же останутся полные коробки» (Пир. I.XIII.12). Давно отмеченная комментаторами аллюзия на чудо о пяти хлебах (Ин 6: 5-13)²⁹ подкрепляется тем, что впервые вместо *pane di biado* «простой, грубый хлеб» здесь употреблено *pane orzato* «ячменный хлеб», как и в Евангелии (в Вульгате: *panis hordeacius*). Не исключено, что противопоставление пшеничного и ячменного хлеба имеет и чисто религиозный аспект: пшеница была символом истинной католической веры (в частности, гостия делалась из пшеничной муки)³⁰, а ячмень ассоциировался с ересью³¹ — «*do vitio de resia*» как сказано

27 См., например: *Epistola ad Severinum de cantate*. IV.38.20 [Ives 1955, p. 85]. «Послание к Северину о любви» называют в числе источников «Комедии» и VE, см.: [Corti, 1982, p. 53-56].

28 Ср.: «Сила дантовского сравнения — как это ни странно — прямо пропорциональна возможности без него обойтись. Оно никогда не диктуется нищенской логической необходимостью» [Мандельштам 1967, с. 21].,

29 Здесь, конечно, заключен и каламбур: хлеб, которым насыщаются тысячи, это не только евангельские пять хлебов, накормившие людей «числом около пяти тысяч» (Ин 6: 10), но и пища, доступная всем итальянцам — всем говорящим на народном языке и не знающим латыни. Ср. категорию «количества» в интерпретации пресуществления, см. выше сн. 26.

30 Заметим, что одна из возможных этимологии *biada* возводит его к *oblata*, Данте мог это знать, благодаря, в частности, соответствию прованс. *biada* — «облатка, гостия», см.: [Raynouard 1836-1843] s. v. *biada*.

31 С другой стороны, один из «доводов» Данте — ревность к своему языку, быть может, связан с тем обстоятельством, что из всех хлебных жертв «жертва ревнования» приносится ячменным хлебом: если «найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою ... пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки; но не возливает на нее елей и не кладет Ливана потому, что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии» (Числ 5: 14-15), в Вульгате: *offeret oblationem pro illa decimam panem sati farinae hordiaciae... , quia sacrificium zelotypiae est et oblatio investigans adulterium.*

/26/

в стихотворении Бонвезина да ла Рива *Disputatio musce sit formica*: «*Per l'ordio si s'intende lo vitio de resia, /.../ Guaia ki mangia l'ordio, ki 's pass de l'heresia / ke lassa stà '1 formento, zoè la drigia via / Zoè la fe catholica, k'è senza tenebria*». (Ячмень подразумевает грех ереси /.../ Горе тому, кто ест ячмень и впадает в ересь / кто отказывается от пшеницы, то есть от прямого пути / то есть от католической веры, на которой нет тьмы. — Цит. по: [Corti 1973, p. 165, п. 17]). Существует ли какая-то взаимосвязь между этим гипотетическим аспектом «хлебной метафоры» и ее лингвистическим аспектом — неясно. Данте мог связывать противопоставление латыни и народного языка с какими-то антипапскими идеями и т. п., но это уже явно не относится к области его лингвистических взглядов³².

Итак, извинения за «простой хлеб» сменяются в конце трактата его прославлением, также меняется статус народного языка на уровне прямых, неметафорических высказываний. Эта смена происходит постепенно, и она непосредственно связана с постепенным раскрытием разных функций комментария как такового. Дидактическая функция комментария (как «популярного» сочинения

32 В одной из недавних работ [Lanza 1990] доказывается, например, что в своем эзотерическом трактате «Пир» Данте проповедует одну из религиозных доктрин гностицизма и для сокрытия еретического — с точки зрения официальной церкви — учения использует иносказательный язык. Согласно концепции А. Ланцы, которую мы никак не можем принять, соотношение латыни и народного языка, обсуждаемое в Первой книге трактата, является не более чем «аллегорией», скрывающей истинный смысл «введения»: противопоставление официальной религии (=латынь) и «дантовской веры» (=вольгаре) [Lanza 1990, p. 54]. В этом же ключе трактуется и заключительная фраза кн. I о «новом свете и новом солнце». Не принимая такого прочтения в целом, отметим, однако, то важное обстоятельство, что церковь действительно сопротивлялась проникновению народного языка в свою сферу. Так, постановления церковных соборов (1229 и 1234 гг.) запрещали пользоваться переводами на «романский язык» (т. е. окситанский) псалмов и молитвенников: верующим предписывалось сдавать их в восьмидневный срок епископу, который обязан был предать огню эти еретические тексты, а специальная булла Иннокентия IV (1245 г.) объявила народный язык «языком еретиков». Эти исторические факты свидетельствуют о том, насколько серьезной для дантовского времени и небезопасной для автора рассматриваемого трактата была тема «защиты и прославления» народного языка (заметим, кстати, что в «Пире» Данте цитирует Писание по-итальянски. О Данте как переводчике см. [Groppi 1962]). С другой стороны, отождествление латыни с официальной церковной доктриной, а народного языка с «новой» верой было бы слишком прозрачным для современников Данте, чтобы можно было поверить в то, что он воспользовался именно этой аллегорией для сокрытия подлинного смысла своего трактата.

/27/

в смысле упомянутой трактовки Ольшки) подчинена собственно комментаторской: «Поистине дар этого комментария — смысл тех канцон, для которых он написан [=функция толкования], смысл, главная задача которого направить людей к познанию и добродетели» [=дидактическая функция] (Пир. I.IX.7). Обе эти функции Данте подчеркивает и в главе I.I., уточняя, почему канцонам, «посвященным как любви (amor), так и добродетели (vertù), необходимо толкование, без него они «остались бы темны и непонятны», и, главное, «многим их красота могла понравиться больше, чем содержащееся в них добро» (Пир. I.I.14). Красота (bellezza), т. е. внешняя привлекательность, противопоставлена категории добра, или христианского блага (bontade). Внешнее сияние добра, блага³³ требует постижения — особых средств, направляющих чувственное восприятие. Хлеб этот, то есть истолкование, будет тем светом, «который выявит все оттенки смысла канцон» (ogni colore di loro sentenza — Пир. I.I.15).

В этой толковательной функции комментарий подчинен тексту, прозаический язык — поэтическому. Эти господа, то есть эти канцоны, «которым комментарий в качестве слуги и предназначен, повелевают ... и хотят быть разъясненными всем тем людям, до которых может дойти их смысл», как если бы они говорили сами (Пир. I.VII.11), — «смысл» здесь intelletto, т. е., видимо, более глубокий смысл, значение по сравнению с «содержанием»

плана выражения — *sentenza*, которое употребляется в остальных местах трактата в традиционном значении «*sententia verbi*».

Однако, начиная с главы IX, возникают и несколько иные определения комментария, свидетельствующие о его самостоятельной ценности. М. Фуко, говоря о позднем Ренессансе, прямо связывает роль комментария с авторефлексией языка: «Язык XVI века был по отношению к себе в положении непрерывного комментария» [Фуко 1977, с. 132]. Это, конечно, любопытным образом соотносится с третьей функцией комментария у Данте — языковой. Закончив рассуждение о «даре полезном» (каковым является смысл канцон и их дидактическая польза), Данте переходит к «дару не выпрошенному», который состоит в том, что через настоящий комментарий народный язык преподнесет самого себя (*darà se medesimo per commento*), чего еще никто от комментария не требовал (Пир. I.IX.10).

Здесь сформулировано сразу несколько принципиально важных положений. Во-первых, комментарий выступает не только как толкование стихов, но и как самостоятельный текст, как образец

33 См. Словарь библейского богословия / Под ред. К. Леон-Дюфруа и др. Брюссель, 1974. Стлб.54.

/28/

итальянской прозы, который и должен продемонстрировать совершенство языка,³⁴ в этом смысле противопоставление «Пира» «Новой жизни» (Пир. I.I.16) можно понять так, что для создания литературного языка недостаточно повествовательной прозы, он должен овладеть всеми областями знания. Точно так же недостаточно для него поэзии — уже существующей, — поэтому нет никакого противоречия в том, что в одном месте трактата Данте говорит, что язык мог бы достигнуть устойчивости (а это качество оценивается положительно), «только связав себя размером и рифмами» (Пир. I.XIII.6), а в другом утверждает, что только в прозе можно понять и оценить красоту языка (Пир. I.X.12-13, оба эти примера будут рассмотрены ниже), и дело здесь не только в том, что речь идет о разных параметрах («благородстве», с которым связана устойчивость, и «красоте»), но и, прежде всего, в том, что задачей «Пира» было утверждение позиций народного языка в прозе. Во-вторых, Данте высказывает мысль, которая не только до него, кажется, никогда не высказывалась, но и по сей день по-настоящему не усвоена филологической наукой, а именно ту, что всякое произведение сообщает не только (и может быть не столько) о внешнеположенных ему вещах (о действительности, об авторе и т. д.), но и о самом себе и о языке, на котором оно написано (напомним цитировавшиеся выше слова Мандельштама о «Божественной комедии» как «памятнике из гранита, воздвигнутом в честь гранита»). Поэт таким образом не просто совершенствует, «кует», формирует язык, поэт заставляет язык осознать самого себя, он выявляет его потенциальные достоинства — то есть превращает их в актуальные и этим отчасти уподобляется Творцу³⁵.

Непосредственно перед двумя обсуждавшимися формулировками даров («смысл канцон» и «язык») Данте говорит: «Ибо вещь полезна лишь постольку, поскольку ею пользуются, и качество (точнее «добродетель») ее, остающееся только возможностью (*sua bontade in potenza*) не обладает совершенным бытием» (Пир. I.IX.6). Это совершенное бытие соотносится с той совершенной любовью к языку, которая доказывается, прежде всего, усилиями, направленными к его благу, но важнее здесь тема реализации тех достоинств вещи, которые существуют «в потенции», ибо в этом состоит истинная задача поэта по отношению к языку.

34 Именно в этом смысле, видимо, нужно понимать многочисленные выпады Данте против предшествующих опытов прозы на народном языке.

33 Кроме евангельской аллюзии (чудо о хлебах) в конце трактата, сошлемся на то же рассуждение о даре: «даровать что-либо многим есть не заставляющее себя ждать благо (*pronto bene* ср. выше), которое уподобляется благодеяниям Бога, всеобщего Благодетеля» (*benefici di Dio che è universalissimo benefattore* — Пир. I.VIII.3).

/29/

/30/

Выявление доселе скрытых (потенциальных) достоинств языка позволяет пересмотреть те определения, касающиеся соотношения народного языка с латинским, которые были даны в начале языковой части трактата. Эти определения применимы к реальному состоянию народного языка, но не к его потенциальным качествам, которые выявляет поэт. В следующей — десятой — главе Данте формулирует все это вполне эксплицитно (причем слова «дарую» или «даю» и «друг» отсылают к предыдущим главам, где впервые названа цель: выявление скрытых потенций языка): «Такое именно величие я и дарую этому другу — народному языку. Добрую сущность (*bontade*) его, которой он обладал потенциально и втайне, я привожу в действие (*in atto*) и делаю всем явной в его собственных проявлениях, обнаруживая способность народного языка выражать замыслы» (*conceputa sentenza* — Пир. I.X.9). Здесь акцентируется метод — выявление потенциальных достоинств, «доброй сущности», но сам аргумент — способность выражать «замыслы» или «смыслы» опровергает то превосходство латыни, которое выше, в главе V, было названо «достоинством» (*vertù*). Если здесь это делается еще осторожно и в сущности не снимает «количественного» аргумента («латинский язык открывает многие мысли, которые народный выразить неспособен» — Пир. I.V.12), то прямой «ответ» на него дается в следующем абзаце той же X главы, где эксплицитно указывается, какие именно преимущества латыни опровергает это определение, и как бы подводится общий итог: «Великие достоинства (*gran bontade*) народного языка «*si*» обнаружатся благодаря настоящему комментарию, где выявится его способность (= достоинство — *vertù*) раскрывать, почти как в латинском, смысл самых высоких и самых необычных понятий

подобаяющим, достаточным и изящным образом» (Пир. I.X.12). Дважды утвердив «достоинство» народного языка, т. е. его способность выражать мысли, Данте переходит к «красоте» — критерию, на который указывает уже завершение предыдущей фразы. Здесь он не повторяет тех конкретных признаков, на основании которых утверждал, что латынь «красивее» народного языка, но просто описывает его красоту, неоднократно повторяя это слово. Нужно полагать, что критерии красоты представлялись Данте многообразными, не в смысле общей аргументации (соразмерности, гармонии), а в отношении того лингвистического содержания, которое он вкладывает в эти общие понятия (например, в VE красота языка определяется качеством написанных на нем произведений, т. е. его обработкой в руках поэтов, см. I.X.3)³⁶. Прежде

36 Ср. гармонию как критерий красоты (Пир. I.V.13, в русском переводе это предложение выпущено) и «сладость и гармонию» как признак стихотворного текста, утрачиваемый в переводе (Пир. I.VII.14), при этом эпитет *dolcissimo* фигурирует и в разбираемом месте X главы (Пир. I.X.9), а соответствующее латинское слово (*dulcior loquela*) выступает как оценка языка (как раз «языка ос») в связи с написанными на нем текстами (VE, I.X.2). Сюда же примыкает и само название *dolce stile nuovo*.

/31/

чем заявить о красоте народного языка, Данте делает важную оговорку: указанные выше достоинства народного языка не могли «должным образом проявиться в произведениях рифмованных», так как их затемняют «случайные (т. е. формальные) украшения (*accidentalī adornezze*), как-то: рифма, ритм и упорядоченный размер» (Пир. I.X.12; последний термин переведен достаточно условно, *numero regulato*, т. е. букв. ‘упорядоченное число, количество’ относится, конечно, к заданному числу слогов в силлабическом стихе). Как о красоте женщины нужно судить, глядя на нее без «случайных украшений», так и красоту языка нужно оценивать по прозаическим текстам, — именно здесь наиболее ясно формулируется функция комментария как образца прозы на *volgare*, хотя слова «проза» в тексте нет, но после сравнения с женщиной без украшений «наедине со своей природной красотой» говорится: «Таков будет и настоящий комментарий, в котором обнаружится плавность слога (*agevolezza de le sue sillabe*), свойства построений (*le proprietadi de le sue costruzioni*)» и приятные речи (*soavi orazioni*),³⁷ из которых он состоит, «все это будет для внимательного наблюдателя исполнено сладчайшей (*dolcissima*) и самой неотразимой (*amabilissima*, букв, самой достойной любви) красотой (*bellezza*)» (Пир. I.X.13)³⁸.

Итак, Данте строит свое доказательство достоинств народного языка как бы «от противоположного», сформулировав сначала преимущества латинского языка перед народным, а затем исподволь опровергая их³⁹.

Это опровержение охватывает не только признаки, сформулированные в V главе трактата, но и некоторые другие свойства языка. Так, с констатацией того, что латынь не понимает

народного языка (Пир. I.VI.6-8), явно перекликаются слова из заключительной главы: «...этот мой родной язык (*mio volgare*) вывел меня на путь познания (*la via di scienza*) ... поскольку я с помощью этого языка приобщился латыни» (Пир. I.XIII.5), — т. е. латынь не

37 В переводе А. Габричевского «сладостные речи», что нарушает терминологичность слова «сладостный» у Данте.

38 Очень интересно, что в применении к языку красота — это одно из добрых качеств языка, его *bontade*, тогда как по отношению к текстам канцон их *belleza* как внешнее свойство противопоставлено *bontade* как свойству внутреннему и сущностному (см. выше).

39 Технику «раскрытия заблуждения» путем «опровержения довода» Данте подробно разбирает в «Монархии» (III. IV).

/32/

«понимает» народного языка, а народный язык в каком-то смысле «понимает» латынь, во всяком случае, может служить средством для овладения латынью.

Из указанных трех преимуществ латыни: достоинства, красоты и благородства, Данте в конце трактата опровергает только два, третий признак — «благородство» — остается неопровергнутым. Благородство языка Данте понимает как его устойчивость, сопротивление изменениям, т. е. «порче». «Поэтому мы и видим в комедиях и трагедиях, написанных в древности и неизменных, тот же латинский язык, каким владеем и ныне» (Пир. I.V.8). Устойчивость здесь проверяется благодаря наличию древних текстов, но при этом признак «устойчивость» применяется не только к языку, но и к самим этим текстам (возможно, в противоположность текстам фольклорным). Народный же язык изменчив, что видно на примере эволюции его лексического состава: «...не так с языком народным, который, следуя прихоти, а также искусству им пользующихся, изменяется» (Пир. I.V.8). Русский перевод здесь воспроизводит не столько текст Данте, сколько традиционный комментарий, у Данте сказано просто, что язык изменяется «*a ricambio artificiato*». Это, видимо, калька лат. *ad placitum*⁴⁰ «по усмотрению», т. е. по «усмотрению [и] искусству [пользующихся им]» или же буквально «по усмотрению искусства»⁴¹, во всяком случае речь идет здесь о влиянии воли носителей на язык. «Если хорошо присмотреться, мы придем к заключению, что в городах Италии за последние пятьдесят лет многие слова исчезли, возникли и изменились; поэтому если короткий срок вызывает такие превращения, то более долгий порождает их в еще большем количестве» (Пир. I.V.9). Неоднократно отмечалось, что здесь, пусть в оценочном, негативном контексте, впервые в истории лингвистической мысли поставлен вопрос об эволюции языка и далее о ее «скорости». Данте иллюстрирует это любопытным примером: «Таким образом, я утверждаю, что если бы те, кто покинул эту жизнь тысячу лет тому назад, вернулись в свои города, они бы

подумали, из-за различия в языке, что город их занят чужеземцами» (Пир. I.V.9). Эту попытку «глоттохронологии» иногда интерпретируют в том смысле, что здесь имплицитно указано и на изменчивость латыни, т. к. жители италийских городов за тысячу лет

40 Термин *ad placitum* в свою очередь является эквивалентом аристотелевского обозначения условной связи («в соответствии с соглашением») между звуком и значением слова и был введен в латинский язык Боэцием (Северином) — *vox significativa secundum placitum* — в его переводе трактата Аристотеля «Об истолковании». О значении и истории этого термина см. [Engels 1963].

41 Отметим основу *art-*, которая далее в трактате будет использована в противопоставлении латинского и народного языка: *arte — uso*.

/33/

до трактата (т. е. в начале IV в. н. э.) говорили как раз на латыни. На наш взгляд, дантовский текст не дает оснований для такого вывода, а приписывать ему подобную мысль только на основании того, что мы знаем об эволюции романских языков, неправомерно. Тем более что, как будет видно из дальнейшего, для Данте латинский язык — это литературный язык, т. е. язык письменных текстов, и в его построениях вообще нет места для устного существования латыни в древности⁴².

В самом конце трактата Данте снова касается вопроса об устойчивости, но в отличие от других признаков не «опровергает» первого своего утверждения о большом благородстве латыни. Доказывая свою «совершенную любовь» к языку, он говорит: «...у меня было с ним общее устремление. Каждая вещь от природы стремится к самосохранению: и если бы народный язык был сам по себе способен к чему-либо стремиться, он и стремился бы к самосохранению, каковое бы заключалось в достижении большей [для себя] устойчивости, а большей устойчивости он мог бы достигнуть только связав себя размером и рифмами (*con numero e con rime*). А это было и моим устремлением...» (Пир. I.XIII.6-7) Устойчивость, в отличие от других свойств языка, это не «скрытое достоинство», которое можно выявить в прозе, — это свойство литературного языка, которое (и который) еще предстоит создать. При этом стихотворные ограничения как фактор, способствующий устойчивости, опять-таки говорят о том, что Данте связывал понятия устойчивости языка и устойчивости текстов, как это отмечалось выше. Для рукописной эпохи рифма и размер были факторами, способствующими устойчивости текста, а наличие эталонных текстов, сохраняющихся неизменными во времени, обеспечивает единство языка во времени, его устойчивость. Речь идет не просто о том, что устойчивостью может обладать только литературный язык, но и о механизме этой устойчивости; ее обеспечивает наличие эталонных текстов, служащих «эталонами» в самом буквальном смысле: по ним «сверяют» язык (что невозможно в бессознательной эволюции устной формы существования языка) и таким образом предохраняют его от порчи, каковой является изменение во времени.

Итак, утверждение о благородстве латыни остается непровергнутым; стать вровень с латынью или превзойти ее народному языку еще только предстоит, но это не значит, что Данте готов уступить

42 Ср. еще в «Новой жизни»: «...в старину не было воспевателей любви на языке народном, но воспевали любовь некоторые поэты на языке латинском... у нас, как, может быть, и у других народов случалось и еще случается, произошло то же самое, что было и в Греции: не народные, но ученые поэты занимались этими вещами» (XXV, пер. А. Эфроса). О взглядах Данте на латинский язык и его «историю» см. ниже.

/34/

здесь первенство латыни, он просто выносит доказательство этого пункта в другой трактат, специально посвященный проблеме изменчивости языка. Закончив свой пример с воскресением древних жителей итальянских городов (который, кстати, косвенно намекает и на будущую «Комедию»)43, он прямо отсылает к другому тексту: «Об этом будет сказано в другом месте более подробно, а именно в небольшой книге, которую я, если позволит Бог, намереваюсь сочинить о народном красноречии» (Пир. I.V.10). Таким образом, получается, что весь труд «О народном красноречии» — основное лингвистическое сочинение Данте — составляет лишь одно звено в системе аргументации «Пира». Можно даже заранее предсказать, что он должен доказать превосходство народного языка над латынью по признаку «благородства» (хотя бы и переосмысленному, т. к. доказать бóльшую устойчивость народного языка едва ли возможно). Не было, кажется, ни одного исследователя, рассматривавшего трактаты Данте, который не коснулся бы заметного противоречия между «Пиром» и VE: в первом утверждается, что латынь «благороднее» народного языка, а во втором прямо сказано, что «nobilior est vulgaris» (народный язык благороднее [латинского] — I.I.4). Многочисленны были и попытки разрешить или объяснить это «противоречие» ([Nardi 1949a, p. 160], [Эстулина 1967, с. 129-130], [Шишмарев 1972, с. 89-90], критический обзор см. [Pagani 1982, p. 142-154]), которые, если пренебречь частностями, сводятся к двум решениям: к эволюции взглядов автора (отказ от прежних «заблуждений») или к оценке явления с разных точек зрения (латынь как средство выражения, *vulgare* как средство общения). При всей обоснованности функционального подхода предлагаемые объяснения, как нам представляется, не могут считаться исчерпывающими и главное — плохо вяжутся с самой темой трактата о красноречии на народном языке. Отмеченное «противоречие» слишком очевидно, чтобы быть случайным, и обращает внимание на вполне «сознательную» антитезу, вытекающую из всей системы аргументации «Пира» и места, отведенного в этой системе второму сочинению о языке44.

43 Пример, к которому обращается Данте, представляет собой в сущности хорошо известный фольклорный сюжет о возвращении человека через много поколений, когда его

не узнают и т. п. Но такое возвращение, как правило, связано не с воскресением, а с пребыванием в какой-то чудесной стране и, в частности, — в загробном мире. Этот последний мотив составлял основу особого жанра «видений», посещений того света (в русской традиции этот жанр назывался «обмираньями»), который и послужил непосредственным прямым источником сюжета «Божественной комедии» (о самом жанре загробных видений, в том числе и в связи с «Комедией», см., например, [Гуревич 1981, с. 176-239, гл.: «Божественная комедия» до Данте]).

44 Сходной точки зрения придерживается английский ученый Сесил Грейсон [Grayson 1965, p. 110].